

Максим Горький

Одинокий



Annotation

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 235, 1 ноября, с подзаголовком «Силуэт».

В конце 90-х и начале 900-х годов М.Горький дважды правил гранки первого набора, по-видимому, предполагая вторичное издание рассказа. Но замысел этот осуществлён не был.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту «Самарской газеты» с исправлениями, внесёнными М.Горьким в гранки набора: снят подзаголовок, сделан ряд стилистических поправок.

•

– Вы никуда не пойдёте, барин?

Барин сидит в глубоком кожаном кресле, перед большим письменным столом, почти сплошь заставленным разными безделушками, всё реликвиями прошлого. С каждой из них связано какое-либо воспоминание, а над столом висит акварельный портрет пожилой, красивой женщины, с лицом строгим и освещённым глубокой мыслью, – это самое дорогое воспоминание.

И везде кругом барина в маленькой уютной комнате ничего, что не вызывало бы теней прошлого. Барину с лишком семьдесят лет, у него трясётся голова, и все члены давно уже с трудом подчиняются велениям изработавшегося мозга.

Его кухарка, – экономка и единственный в мире близкий ему человек, – стоит в дверях комнаты и, стараясь скрыть зевоту, спрашивает сонно и равнодушно:

– Вы никуда не пойдёте, барин?

В семьдесят лет некуда идти, кроме того места, куда необходимо пойдёт каждый из нас. Но всё-таки барин справляется:

– Сколько времени?..

– Четверть десятого...

Он знает, что его старуха прибавила времени с полчаса, но не обращает на это внимания.

Пожалуй, ему даже приятно, что полчаса как бы скинуты с общей

суммы часов, которые ему остаётся провести в одиночестве и печальном ожидании конца концов. Он кротно говорит.

– Никуда не пойду...

Дверь бесшумно затворяется, и он снова один на один с самим собой. Перед ним раскрытая библия, на ней лежат очки, но он не читает, а курит трубку на длинном чубуке, курит и рассматривает так хорошо знакомые ему вещи на столе и фотографии, пожелтевшие от времени.

Дым табака сизыми волнами носится в воздухе, образует голубоватые фантастические узоры, застывает на минуту в виде лёгкой, еле заметной глазу ткани – и исчезает. Веки старых, тусклых глаз дремотно опускаются, – но это от слабости, а не от желания спать. Сна нет, как нет сил, нет тепла в крови и ясности в мозге.

Там медленно-медленно формируются давно пережитые и уже перепутанные временем образы прошлого, и ослабленная память напрягается, стараясь найти в них хронологическую и внутреннюю связь.

Иногда – точно искра в груди пепла от угасшего костра – в старой, много думавшей голове сверкнёт мысль и быстро гаснет, не успевая зажечь другую.

Снова являются образы, а клубы дыма из трубки становятся все гуще и стоят мягким лиловатым облаком над старческой, трясущейся головой, с лицом, исчерченным глубокими морщинами и украшенным пушистой рамой седых волос.

Время тянется медленно, маятник больших стенных часов строго аккуратно отсчитывает секунды.

Много проходит времени между одним и другим его ударом. С портрета на стене в лицо старика сосредоточенно и важно смотрят тёмные глаза женщины и как будто ждут чего-то от старого одинокого человека.

А от него, как и ему самому для себя, нечего ждать, кроме смерти.

За окном дождь шумит и печально ноет осенний ветер.

* * *

... Каждый день вечером повторяется эта сцена. Отворяется дверь, и старуха-слуга равнодушно спрашивает:

– Вы никуда не пойдёте, барин?

Тон, которым она говорит свою фразу, звучит скорее как напоминание, чем как вопрос.

«Вы никуда уж не пойдёте больше!» – вещает старуха, как бы

напоминая своему барину закон времени, которое не щадит жизни даже и тогда, когда она хороша и нужна.

А трясущаяся голова старика точно подтверждает своим движением этот закон:

«Да, мне некуда больше идти...»

Иногда в ней медленно слагается печальная мысль.

«Семьдесят лет жизни! Уметь много думать, много понимать, много чувствовать и делать – и за всем этим не уметь оставить по себе никакой тени в жизни, никакого яркого, поучительного, памятного другим пятна... Родиться, пройти свой путь, снести свой крест и одряхлеть и остаться одному во всём мире, остаться в маленькой комнате над землёй и дожидаться в ней переселения в маленькую яму в земле...»

И старик, напрягая память, вспоминает ход своей жизни.

Он жил, как большинство тех серых и скучных людей, которых снисходительно принято называть «порядочными людьми».

Он имел представление о законах морали и никогда без необходимости, по своей воле не шёл против них – он желал сохранить то внутреннее равновесие, которое зовут покойной совестью, и без необходимости не нарушал его.

В работу свою, сначала полную огня и оригинальности, он постепенно ввёл формализм привычки. Что же? И Везувий потухнет со временем.

Приблизясь к окончательному завершению того внутреннего склада, который называют мирозерцанием, – он стал отдаляться от понимания духа времени, и потом совершенно перестал понимать его, явился по отношению к нему консерватором, застыв в рамках тех понятий, что уже остались далеко позади.

Работал и иногда вносил в свою работу частицу личного я, – если это позволяли.

Потом был женат, любил жену, пока мог любить, после уважал её как подругу, но если она как-либо восставала против его желаний и поступков, как-либо стесняла его «я», он давал ей это чувствовать и в ссорах никогда не щадил её самолюбия.

Были дети, некоторые уже умерли, другие так далеко и так давно не видали отца, что едва ли приедут, если их позвать для того, чтоб скрасить их присутствием одиночество, и едва ли будут способны искренно пожалеть о нём, умирающем.

И как их позвать? Он ещё жив и, пожалуй, здоров; приехав к нему теперь, они могут теперь подумать о нём про себя:

«Вот беспокойный старик! Ещё ведь не умирает, зачем же было

беспокоить людей, заставляя их ехать так далеко для того, чтобы показать им себя...»

Они, может быть, и неспособны думать так про отца, это «порядочные люди», и стоили отцу много забот, но они люди всё-таки... И время, время! – вот что надо помнить всегда. Оно излечивает все недуги, потому что всё убивает – и то, что зовётся симпатиями, любовью.

Друзья... В большинстве случаев это – судьи, учителя или опекуны – старость не нуждается в них. В виде редких исключений встречаются друзья, – слишком точно отражающие тебя в себе, как в зеркале; очень интересные и ценные сначала – они скоро становятся скучны и исчезают, превращаясь в знакомых. Лучшие друзья – это люди, которые не любят говорить и умеют понятно молчать. Но эти так редки.

У одинокого старика не сохранилось друзей.

* * *

Веки глаз его становятся всё тяжелее, и ему всё труднее поднять их.

Он глубже уходил в думы, и от этого ему так нехорошо, точно он погружается в холодную влагу, ещё более расслабляющую его дряхлое тело.

Сердце бьётся слабо, кости ноют тихой болью. Это оттого, что он долго не переменял позы. Он переменяет её и снова думает всё о том, чем бы скрасить последние дни жизни. Куда пойти, где можно бы оживиться и хотя на пять минут забыть, заглушить неотвязное чувство близости конца.

Знакомые? Что может он принести людям такое, что дало бы ему право на их внимание?

Чем он может возбудить интерес к себе?

Рассказами о прошлом? – Рассказано всё...

Изложением своего взгляда на настоящее? – Он не понимает его наполовину, а другую не хочет понять. Не хочет – потому что он всё-таки веровал в то, над чем ныне стали смеяться. О будущем старики не говорят – у стариков нет будущего.

От него веет смертью. Он знает это...

И у него есть своя гордость – гордость человека, который видит нечто фатальное, ожидающее его, оно уже близко, и бесполезно жаловаться людям на законы, управляющие ими, но не ими созданные.

И у него нет веры в то, что люди способны искренно жалеть друг друга – он слишком много жил для того, чтоб сохранить эту веру до сего

дня, бесконечно длинного, полного боли в костях, тяжести в желудке и в голове и занятого наблюдениями за процессом разрушения организма.

Две старческие мутные слезы выливаются из-под закрытых век и медленно текут по щекам, обвислым и морщинистым.

* * *

Голубые клубы дыма поднялись по потолку и исчезли, потому что трубка потухла, и её чубук, выпавши из руки старика, уже лежит на полу.

Откинутая на спинку кресла седая голова с морщинистым лицом в раме серебряных волос всё вздрагивает, руки, протянутые вдоль туловища, неподвижны, жёлтые и сухие кисти их с крючковатыми пальцами лежат на коленях.

В комнате тихо, только часы с медленностью, в которой можно заподозрить насмешку, считают секунды, бесследно капающие в вечность.

Со стола на старика в кресле смотрят выцветшие фотографии, статуэтки и разные безделушки, со стены смотрит на него портрет женщины.

Старик неподвижен уже.

Но он не умер ещё, нет.

Из-под закрытых век его одна за другой катятся слёзы – это мелкие слёзы, но от них мокры обе его дряблые щеки.

По резким морщинам, опустившим книзу конвульсивно вздрагивающие углы губ старика, слёзы сливаются ему в бороду, с бороды капают на грудь.

За окном дождь шумит и печально воет осенний ветер.